

Менять, менять, менять интонацию! Опереточные диалоги... Пленительное разгильдяйство абсурда... Пейзажи с патриотическим мреевом и импрессионистскими размывами... Но диалог предполагает разделение мысли, а я давно не имею, кому предложить опробовать это великое изобретение греческих атеистов. Я рождена абсурдом и страдательна по отношению к нему, ибо никому ещё не удалось родить себе родителей. Я так давно лишена впечатлений, что навернякаотреагирую на них аллергически. Всё менее отчетливо воспринимается жизнь, всё слабее её нокаутирующие удары: тень нельзя нокаутировать.

Остается только интонация, слабая модуляция, флейтовый вход воздуха и ответное вибрирование связок. Фигура участника диалога, допускающего монолог собеседника, давно стала риторической. Если бы он был, он сам бы многое сказал за меня, укорачивая вероятный монолог и избегая допросной формы. В диалоге нет подследственных.

Собеседник – тот, кого можно спросить про себя, а не про него: почему я здесь? Ведь у меня нет и не было на их счёт заблуждений. Ни заблуждений, ни иллюзий, ни амбиций. Неужели бедность непременно ведет к чужому? Чужое – это когда продаётся не труд, а время. Своё – это когда времени нет: оно поглощено любовью. Только любовь и смерть впитывают это терпкое вино жизни – время. Почему я здесь?

– Просто появилась Надежда. Она не имеет отношения к очевидному и не считается с ошибкой в условиях задачи.

– Капитан Надежда. Начальник похоронной команды страстей. Недаром она умирает последней, когда зароет Веру и Любовь. Потом – что?

– Потом – интонация, которую уже не надо менять...

Толстый потомственный мальчик из особенно дразнимых в школе, записной отличник, хорошо усваивающий чужое, решил

запустить теорию денег в народ, предпочитающий их не иметь, а имея – не пользоваться. Зарытая прадедом кубышка пошла в перегонной, зато сосед не донёс властям. Народ, всё принимающий всерьёз и ничему до конца не верящий. Всякий процесс воспринимающий как самодостаточный. Чем занят мужик, сидящий на откосе, одну ногу вытянув, а другую согнув циркулем, время от времени (век от века) прохлаждая вспотевшую под шестиклинкой макушку и массируя её указательным цапом? Может быть, он созерцает, как японец? Медитирует, как бенгалец? Наблюдает, как европеец? Нет! Он – сидит на откосе. Исчерпывающе сидит, без малейших признаков дополнительности. И деньги определяют лишь его самочувствие, а не образ жизни. Обладание некой суммой никак не связано для него с организацией жизни на новых, более комфортных началах. Время здесь не высвобождается – оно препровождается. Громадные полярные сутки, сон ужасов, прервать который можно, только любым путем отключившись от блока питания. Самая истовая вера в редчайших случаях порождает в нашем сознании уверенность в адекватности воздаяния, и в самых иконописных глазах всегда сквозит спокойная ирония: «Как же, знаем! Облапошат – как пить дать...»

Как огонь отсекают встречной стеной огня, так мы прожигаем время, чтобы оно не сожгло нас. Но с другой стороны стены огненной стоят гасители с собранной в струю стеной воды и, не давая подняться, бьют этой струёй понизу, по ногам огня, как бьёт хлыстом по ногам, а не по глазам норовящую лошадь умный жокей. Относя себя к гасителям «красного петуха» времени, я никогда не пыталась перемахнуть его поверху, но подкапывалась снизу, и сейчас меня впервые хотели заставить подчиниться и взлететь на стену пламени, чтобы красная искрящая пена осталась от меня и прошипела вниз, как суфляр «Донского игристого».

Я всегда соглашалась на время без свободы, на Бога без компенсаций, как бездомный согласен на жильё без канализации. Я переживала его честно, как похмелье, когда нельзя добыть глотка пива. Слово «работа» здесь никого не обманывает прямым прочтением. Работа – это разгружать состав дней вагон за вагоном, не зная, сколько их там подцепили за очередной перегон. «Досуг» по-нашему – отдых лишь в последней, почти предсмертной инстанции, а «досужий» человек – степень преуспевания, а не праздности. Потому что нет более мучительного занятия, как ничего не делать, то есть остаться один на один со временем. И вот меня и того мужика на откосе вознамерились поставить на поток, приставить к конвейеру отлаженного и од-

нонаправленного времени, как коллективного Чарли Чаплина. А чтобы мы не убежали, надо было изменить лишь одно-единственное обстоятельство – сделать жизнь без денег, которую мы вели более или менее успешно веками, невозможной. И второе – изменить статику, условия соблюдения равновесия, заставить тянуться, отдергивая приз из-под самого носа дотянувшегося так, чтобы он рухнул с треском и снова, утерев юшку, начал горючить подпорки и подставки, плевать на ладони и поднапруживаться, и – дурак дураком – лезть за передвинутой на несколько сантиметров морковкой.

Я всегда знала, что приговор отсрочен, но не обжалован. Сознание приговорённого вовсе не хочет знать часа X. Оно уповает именно на неопределённую отсрочку, оттяжку. И даже если я проводила эту оттяжку в ступоре одной точки, это была точка моей жизни, и я никого не просила взять полточки на себя. Я смаковала пайку, каждая крошка которой могла стать последней, я ловила её в жёлоб подставленной к подбородку ладони. Я никогда не соответствовала официальному знаковому ряду и, как только в газетном обиходе появилось понятие «продовольственная корзина», невольно спародировала это понятие, превратившись в Красную Шапочку, любимицу фрейдистов. Но я символизировала не физиологический, а социальный аспект архетипа, по которому в корзинке умещался только пирожок и горшочек масла. Прежняя жизнь без денег становилась биологически невозможной. А она на фоне расцвета материализма имела ещё и ряд метафизических признаков: она позволяла не ходить на «совет нечестивых», избегать людей с деньгами, которые существовали где-то сами по себе. Новое испытание состояло в том, что моральные установки оставались прежними, а деньги изменили качество, и пирожок был скушан, а пустой горшочек перекатывался по корзинке с глухим скрёбом.

Каппелевская атака инфляции смяла пожизненное противостояние знанию последнего часа. Он наступил вчера. Любая попытка продолжить персональное существование становилась грубо комической, раешной. На этапе окончательной унификации стояли пересыльные тюрьмы, менялся конвой, шла проверка личных дел и дезинфекция. Я попала на глаза Партайгеноссе на огромном невольничьем рынке мозгов, и она непустила своего.

Узнав всю правду из журнала «Огонёк», она пришла в политику (таким городским греческим словом называли свою дея-

тельность те, кто нипочём не желал возвращаться от перестро-
ечных микрофонов в прежние конторы, НИИ и КБ) из области
странной, материально-мифологической – археологии, науки,
приблизительно или вовсе произвольно реконструирующей по
случайно выхваченной частице утраченное целое. Она провела
жизнь в напекающих голову экспедициях, нажила несколько би-
вачных болезней да сложила – или заимствовала – толику рас-
хожих легенд уровня перекидного календаря. Проводя охотные
экскурсии по музею собственного тщеславия, то есть без спросу
погружая людей в своё прошлое – вербально и визуально, ког-
да предлагается самая мучительная головоломка – отыскать на
групповом снимке среди окаменевших комсомольских лиц не-
возвратные тридцать или сорок лет чужой, волей обстоятельств
соприкоснувшейся с твоею, жизни, она часто повторяла:

– Я была такой тоненькой, что могла проскользнуть в слив
ванны.

Многие люди в аналогичных ситуациях повторяют клише,
как им кажется, объясняющие собеседнику узловые моменты их
жизни, а на самом деле угнетающие его и отупляющие. Эта ло-
госная безответственность делает невозможным диалог, зави-
сящий от свежести реакции, заигранная пластинка сбивает иглу
мысли, откидывая её на несколько тактов назад и автоматизи-
руя мелодию разговора. Проскальзывание, смывание никак не
ассоциировалось для меня с тоненькостью, и я представляла
уж всё до конца, до чавка поглощения, до отверстого люка, из
которого достают этакого синюшного Винни-Пуха, не похудев-
шего, отнюдь, но только увеличившего габариты. Согласиться
с тоненькостью женщины-учёного, заснятой на экспедиционном
валуне, проецирующем, как рентгеновский аппарат, воспаление
придатков, можно было только в сравнении с настоящим, рез-
кой сменой образа жизни приумножившим размеры при сохра-
нении атавистического полевого аппетита.

По мере общения – с его циклопической одноракурсовостью
по отношению ко мне, выбранной для испытания новой мифо-
логии, выбранной неудачно, навскидку, я понимала, что версия
тоненькости и разрабатывалась как часть смутно исповедуе-
мого мифа о потерянной женственности, съеденной драконом
коммунизма. Она никогда не могла бы связно изложить этот
миф, несмотря на то, что он подмахивал стереотипу отрицания
эпохи, в которой я была ничуть не менее уязвима, чем теперь, а
она если не процветала, то существовала вполне благополучно.
Она была убеждена, что эпоха рухнула при её непосредствен-

ном усилити, а ценой стала погребенная под руинами *тоненькость*.

Должность начальника археологической экспедиции не способствует прогрессу женской миловидности, той поверхностной журнальной женственности, которая принята за образец мужскими цивилизациями. Но маскулинизирует женщину не профессия, а беззащитность, только-на-себя-полагаемость, невостребованность, неприменимость природы, каких-то её глубинных, придонных факторов, а не внешнего ряда. Её омужичивала не археология, а внутренняя статичность, негибкость душевной формы, туповатая работоспособность без срывов и кризисов, пионерские понятия о добросовестности, трамвайная честность прокомпостированного талончика, – всё, что она принесла из якобы разрушенной эпохи в новую и что я называла *экзистенциальной партийностью*. Ее так называемые «взгляды» и «позиции» не перетекали плавно из одной воды времени в другую, а бурно выплескивались под окно, твёрдые части ломались об колено, мягкие топтались каблуками – всегда с неприятным, инфантильным самовыгораживанием. Её душа, как кузнечный мех, постоянно раздувала чисто мужскую самодостаточность. Она была уверена в своей неотразимости не трогательно кокетливо, но мессиански обреченно.

Она говорила про людей, вынужденных, как я, иметь с ней общение: «Они влюбились в меня совершенно безумно». Или: «Я для них единственный свет в окошке». Так она накачивала харизму, которой не была одарена ни в малейшей степени, и всё с большим трудом втискивалась в нишу, укомплектовываемую на глазах новыми самозванцами. И еще её делала неженщиной тактильная закомплексованность, невозможность приобнять другого за плечи, сжать его руку, возбуждая рецепторы симпатии и слёзные импульсы. Утрата на экспедиционном валуне способности к детородству обернулась утратой нежности, лишила дара материнства, несравнимо высшего и святейшего, чем деторождение, как правило, поверяемого как раз женской бездетностью – собачьим виновато-усмешливым взглядом, органически дающей и трогаящей ладонью.

Я инстинктивно чуралась женских страстных дружб с камнем за пазухой. Никогда не испытывала пресловутой солидарности, связанной с глобальной сексуальной неудачей, брезговала этой безмотивной лживостью, столь милой мужчинам. Очевидно, помимо иллюзии заработка, на ошибку общения меня подвигла именно её неженскость – нечто среднее между недомужчинами

и переженщинами моего круга. Пророчествуя об эре женщин, даже самые смелые и свободные мужчины страшатся признать неизбежность внешних потерь, этой самой миловидности, обложечности. Всякий интеллектуальный проблеск в женщине они квалифицируют как асексуальный, им везде чудится новая Анна Каренина, отступница, достойная романа, но не достойная остаться в живых. Между тем интеллект посягает не на материнство – единственное мерило женского, но на сексапильность, притормаживает провокативный элемент – наследие перво-родного греха. Это нежелание расстаться с Евой и побуждает ветхого Адама, легко расставшегося с Лилит, продолжать игрушечную войну полов, невзирая на её архаическую бессмысленность, полную замену знаков и символов и невозстановимость моноидеи продолжения рода. Изобретение контрацептивов, снявшее с мужчины ответственность, раскочегарившее угасшие инстинкты, пролегло резиновым мостиком сначала между Евой и Софией, потом – между Марфой и Марией, а насколько при этом София и Мария соответствуют фотоидеалу, мужчины стараются не думать. По их сценарию та и другая спокойно сочетают интеллект с похотливостью и всегда готовы к услугам. Презерватив – изобретение ничуть не менее революционное, чем колесо или порох. Это отвратительное изделие свело на нет тысячелетнюю пальму мужского первенства и развернуло мир к иным взаимоотношениям – круто и бесповоротно.

Попервоначально она то и дело упоминала мужские имена – всегда с пренебрежительным суффиксом и всегда с пропусками экспозиции, как будто отношения протекали при моем непосредственном участии. По свойству подобной мифологии, герои либо умерли мученической смертью, либо, несмотря на подвиги, чудом оставшись в живых, были поражены обездвиживающими недугами, которые, наряду со сложными матримониальными обстоятельствами, не давали им возможности даже позвонить – не то что посетить жертвенную возлюбленную. Такие легенды рассчитаны на щепетильность слушателя, когда рассказчик тем более распоясывается, чем более собеседник стесняется внести коррективы в вариации сюжета: «В прошлый раз Витьку звали Юркой, а Юрку Володькой, не говоря уже о Димке». Я терпеливо вымалчивала её монологи, думая о том, что невосприятие слова как живой силы, по-видимому, является самым полным свидетельством атеизма.

В городе с неустойчивой номинацией, меняющей её при каждом воплощении, и теперь вернувшемся к прошлой, шедшей

его нынешнему облику, как корове седло, немецкой, как музыка, под которую уходят в византизированную Азию фирменные поезда, на острове, только что оккупированном партийцами нового эшелона, была устроена одна из агрессивных женских посиделок, на которых бессознательно соперничающие друг с другом в отсутствие объекта соперничества тётки пытаются выкачать из политической атмосферы какие-то особые права. Я оказалась на этой тусовке – так криминализованный сленг приспособил картёжное «тасовать» – именно по причине криминализации. Буквально накануне из сектора нашего института был похищен подаренный какими-то залётными благотворителями компьютер, в котором хранились материалы книги, неспешно, с советскими паузами, подготавливаемой к печати. Моя глава о женском движении в России совершенно случайно оказалась распечатанной, а потому неизбежно застрявшей в руках заведующего. Поскольку он имел неосторожность родиться мужчиной и в данном конкретном случае впервые не мог остаться единственным претендентом на участие в бабской затее, это, несмотря на застарелую неприязнь, решило дело в мою пользу.

Покража компьютера подтвердила ощущения близкого конца нищенского, но по-своему идеально отлаженного способа существования. Мысль о поиске заработка спицей втыкалась в некротическую оболочку инерции. Партайгеноссе была первой, кого я узнала среди встречающих московскую делегацию. Наступившая эпоха вторичности не отказала себе в удовольствии срежиссировать фарс и быть единственным зрителем, который понимал жанр происходящего. Немолодой резонерше, согласно рисунку роли, надлежало проводить в массы мессианскую идею многопартийности, и она играла с любительским самоупоеанием и форсажем, не подозревая, что любое историческое опоздание чревато не просто попаданием не в свой вагон, но вообще на другой поезд, идущий зачастую в совершенно противоположном направлении. Прозвище Партайгеноссе выплыло из заученного наизусть телефильма про Штирлица и присосалось навечно к её лишённому обаяния облику. Как обычно, имитируя харизму, она повернула дело так, будто исключительно её трудами состоялся этот, по выражению из вступительного спича, «представительный форум», и теперь ей адресовались все оргвопросы, включая отсутствие туалетной бумаги.

Заграничные пеструхи, начитавшись рекламных проспектов, а в абсолютном меньшинстве – даже и романов, в которых языческое отрицание безумного создателя города сопровожда-

лось истерическим провозглашением некой особой субстанции камней, поставленных в линейку, понаехали лично убедиться, что романы и проспекты пишутся прямо с жизни, как студенческие шпаргалки – прямо с учебника, не изменяя ни слова. Я и несколько таких же красных шапочек, помимо беззатратного перемещения в пространстве, преследовали цель несколько пополнить горшочек и освежить в памяти вкус пирожка. За выступление по регламенту нам было обещано вознаграждение от людей, которые ради только им ведомых целей устроили эту островную комедию. К тому же в программу входило посещение концерта знаменитого, в прошлом местного музыканта, который в родных пенатах участниц заламывал такие цены, что исповеданием феминизма они не окупались.

В гигантском парке, ухоженном некогда с таким запасом прочности, что контуры его не стёрлись десятилетиями запустения, осенняя золотодобыча ещё контрастировала с травяной зеленью, хотя пар, выдыханный на утренней прогулке, уже густел и не отлетал. По соседству мёрзли на кладбище останки любимой собаки задушенного Государя. Животным нередко везёт больше, чем их владельцам. Свернув с выбранной тропинки, ничего не стоило очутиться в XIX столетии, и мистическое сознание сбивчивости времени заставляло крепко запоминать повороты. Литературный Петербург заканчивался видом на Гараженбург, перерезанный материковой электричкой с одной стороны и стоячей несудоходной водой – с другой.

За десять минут я поведала европейкам с ужасающе дисциплинированными лицевыми мускулами о том, что «Домострой» виноват не более чем Коминтерн, и вообще хрен редьки не слаще, и осталась абсолютно свободной и непричастной. Ошибки всегда совершаются случайно. Они, вопреки расхожей натяжке, потому и ошибки, что не запрограммированы судьбой. Я вышла в вестибюль гостиницы, где нас поселили вместе с иноземками. В прежние времена мы безропотно перебились бы Домом колхозника и встречались бы с зарубежными подругами только на общих мероприятиях. Вестибюль этот неволью оправдывал правящий режим, который – пусть для себя – сохраняет то, что наверняка уничтожил бы демос, боящийся материальной культуры, как ребенок часто боится новой игрушки. Смуглое холодное дерево лестницы и панелей рифмовалось с меланизмом рояля, чья залаченная, как шевелюра гипотетического исполнителя, чернота в свою очередь лишь на одну букву разнилась с мелосом – его немим без крутого пальцевого заме-

са предназначением. Дерево странным образом не поддается опошлению, будучи в то же время материалом не инфантильным. Самая большая редкость – это непошлая зрелость. Партайгеноссе вывалилась следом. Столько времени слушать других было сверх её сил. Она превосходила возможности любого интерьера какой-то вопиющей неорганичностью. Можно допустить, что я так легкомысленно согласилась на её предложение, дабы не напрягать пространство.

– Будете со мной работать? – грубо спросила она.

И я, ни секунды не вдаваясь в выяснения, ответила:

– Буду!

Речь в этот момент могла вестись об ограблении курьерского поезда и операции по резекции желудка, хотя я, конечно, понимала, что ей нужны мои мозги и что много она за них не даст. Мне хотелось уйти от неё, потому что подспудно я ощущала и нечто другое, исходящее от неё темно и безотчетно, в чём она никогда бы себе не призналась и что провоцировалось уже самим характером однополного мероприятия. Идти можно было куда угодно, а по сути, по давней отвычке от перемены мест и некуда: между мной и каждым ленинградским знакомым накопилось столько неизвестности, что не стоило и затеваться её превозмогать. С лёгким сердцем я увязалась за красивой, измученной бытом и жаждой справедливости провинциалкой, тронувшей меня нескрываемой миной подавляемой скуки. Провинциалка должна была ехать на «Ленфильм» и по поручению подруги (а личной цели она не могла иметь по определению), не могущей не загрузить человека, с трудом вырвавшегося за каждодневный предел, передать её сыну, работающему ассистентом у любимого режиссера провинциальной интеллигенции, обременительные и хрупкие банки с соленьями, чтобы то ли предупредить авитаминоз, то ли спровоцировать язву двенадцатиперстной кишки. Материнские установки часто обоюдостры. Я вспомнила, что на студии работали мои старые знакомые, снимавшие тягучие чёрно-белые картины о тоскующей русской неопределённости, и моё втирушничество в провинциальный альтруизм обрело хоть какой-то смысл.

По дороге к съёмочной площадке, которая, кажется, была единственной на киностудии, действующей функционально, – остальные давно превратились в торговые площади и были заняты салоном иномарок и складами просроченной тушёнки, я всё оглядывалась в сторону без труда преодоленной вахты, где остался молодой бурятик в вохровской фуражке. Он был

наделён ламаистскими предками такой матовой кожей, не подверженной возрастной вулканизации, и такими жеребьячьими породистыми губами, что я не выдержала и поцеловала его, сглотив с бархатной влажности вкус только что поглощённого «Сникерса». Бурятик воспринял мой почти материнский демарш с большим достоинством – или привычкой.

Маршрут вёл нас прямо в кадр, в насильственно правдоподобный интерьер, так восхищавший поклонников режиссёра, который изживал свой эдипов комплекс, реконструируя юность отцов из хлама, собираемого по всему городу. Мы могли бы кардинально изменить сценарный план, если бы навстречу нам не лавировал между выгородок юноша – о, как я люблю это слово! Как я люблю совокупность его в мужских чертах – юношественность, не высиженную в очереди к массажистке, а рождённую не остывающим азартом, деятельной мечтой, упрямством наездника. Я немедленно сбежала из дацана, куда уже переселилась с вахтенным жеребёнком, и очутилась в поморском поселении района промысла сёмги. Северные светлые до бешенства глаза на таких лицах не противоречат сарматским скулам, под которыми щёки всегда кажутся несколько запавшими, что исключает расхлябанность рта. А волосы вокруг таких лиц ложатся упрямо и простонародно независимо от фасона стрижки. Всё это в полный поморский простор разверзало горизонт шанса и зенит разлуки с её приливами и отливами. Поняв, что моим приятелям давно нет места среди банок с желированной говядиной, я отправилась дегустировать материнские соленья через улицы, носящие членовредительские имена забытых революционеров.

Как все русские возмечтавшие мальчики, он пожертвовал прежде всего праздностью, без которой юность ущемляется, как палец дверьми. В кино он пришёл с крыши, словно мартовский кот. Работая кровельщиком, выклепал себе прописку, без которой дарование не подлежит легитимации. Помимо заветного штампа, его вознаградили каморой на чердаке, куда мы взбирались, будто голубятники. Чердак был переоборудован (здесь уместна опечатка переоборудован) под дополнительный этаж, и я махом пережила времена года в предлагаемых обстоятельствах: летний саунный жар, звукопреемство дождя и ультракороткие волны лежащего снега. Убегая от давящего потолка, комната прижимала обстановку, стаченную, как кадр любимого мэтра, с бору по сосенке, ближе к полу, точно здесь обитал карлик, вьетнамец или безногий. Мы сидели на физкультурном мате школьного происхождения, и я наконец рассмотрела его руки – главное в

мужчине, – руки, как бы наделенные особым выражением, – с крупными суставами без коревой красноты пролетария, с лунной матовостью ногтей, с только губами и воображением ощущаемыми прозрачными волосками на фалангах.

Помор был наделён таким талантом немногословного беззажимного общения, что не оставалось сомнений, как поступят с ним в сфере, куда он проник с крыши и где ценится потная натуга, подвиг бездарности, вытрудившей справку о полноценности, а не сама полноценная легкость таланта. Он поставил на проигрыватель, определённо спасенный от хавала мусоросборника, виниловую трогательную пластинку Грига и ушел варить картошку на кухню, где скос крыши ещё занижал параметры роста. Невольно ставшая сводней провинциалка, нещадно романтизируя, расписывала густоту терний, продранных навстречу мечте, а я хватала на лету – бреющем ввиду сидяче-ползучих приспособлений этого жилища – приметы бытовых совпадений судьбы, которые являют родство вернее всякой эзотерики.

Он умел организовать вокруг себя минимум случайных чужих вещей, чтобы не одолжаться у них, тянясь и выпрашивая взаимодействия. Надставленный на нужную длину электропровод дешёвого ночника говорил о напряжённости его жизни больше, чем антикварный иконостас в доме юродствующего коммерсанта. Такие, как он, не бывают неопитами ни в какой области, включая интимную, но обладают с самого рождения неким внесловесным знанием. Об этом говорила и немодность, несуетность его библиотеки с отсутствием кипы толстых журналов на полу, от кальсонного цвета обложек которых так и веет разрядкой либеральной обязаловки. В камере пахло чистыми, настиранными впрок сорочками, – запахом убеждённо одинокого и занятого мужчины. Мы уже опоздали на концерт бывшего аборигена, и я чувствовала, что порученка, освободившаяся наконец от банок и неусыпно отслеживающая наши нескрываемые переглядки, едва ли не меньше меня огорчена этим культурным вычетом. Предположить, что она не понимает совершающегося и обречённого не совершиться, значило бы поставить под сомнение её женскую суть, не уничтоженную ни конторой, где она выслуживала пенсию, ни мужем, давно добившимся от неё освободительной фригидности, ни политикой, которой она занялась, потому что в мире должна царить справедливость. Мы съели картошку с огурчиками, напились чаю и сидели, поджав ноги, как, наверное, я бы сейчас сидела и убежав с бурятиком. Предыдущее событие часто лишь проекция последующих.

Поезд на Москву уходил в полночь, и единственное, что могло продлить эту заведомую тройственную безнадёгу – о выдворении материнской наперсницы не могло быть и речи, – единственное, что давало слабую надежду освободиться от неё без неловкости, было участие Помора в прощальном ужине, устрояемом во славу женоложниц всех стран. Официальный ужин – это такая форма присутствия, которая позволяет смыться незаметно и не бестактно, как только подадут горячее. Перед ужином мы должны были заехать в офис партии, в которую наша хозяйка вложила свою археологическую идеологию. Партийный офис служил местом выдачи mzды за липовый феминизм, который, в свою меру, пополнял партийную кассу. Моя безусловная непричастность к празднику отрицания первородного греха, моё знание всех степеней партийного хамства и параноидальной настороженности к каждому, кто не клеймён соответствующей аббревиатурой, моё атавистическое воспитание диктовали неприменное испрашивание разрешения на то, что принадлежало мне по праву рождения, – ещё несколько часов смотреть, как время ювелирно вытачивает разлуку, как из-под его свёрла искрят золотые брызги случая...

Мы прибежали в офис, где Партайгеноссе обсуждала с партайгеноссенами итоги «представительного форума». Рядом с Помором шелудивые подоконники, макулатура партийной печати и какой-то больничной бледности компьютер, на котором партийцы имитировали информационную продвинутость, обитатели помещения, ухваченного со всевозможными ухищрениями, изумляли тавтологической архаической архивностью. Какая сила после всех отсиженных ими комсомольских, профсоюзных и коммуно-юбилейных собраний заставила этих, должно быть, неплохих и неглупых людей снова долдонить уставы и программы, я могла лишь догадываться, но не понять. Я оглянулась на остановившегося из деликатности в дверях Помора, и он соорудил физиономию, вроде бы ободряющую, но с промелькнувшей готовностью отступить, сдаться, и эта, возможно, лишь помнившаяся, мимика сбила меня с куража и предопределила неуспех.

Она увидела нас, поворачиваясь к дверям своим утино–медвежьим манером, малой скоростью, так что перед скошенными поворачиванием глазами успеваеt проплыть сегмент присутствующих. И на этом танковом маневре она успела пережить весь спектр не случившегося с нею, всех парализованных отсутствием фантазии Юрок, Володек и Димок, все цветы, даримые ей

только по официальным случаям, все не сломанные жадными пальцами застёжки лифчиков, невладение утренней тайной в первом поезде метро, когда никто не знает, **что** было с тобой минувшей ночью, но все безошибочно чувствуют, что это **было**. Я уже знала её ответ, но продолжала сближение равно по инерции и по привычке давать партнеру шанс до финала, до гонга. И именно предвкушение поворота спиной к ней, лицом – к нему, и – а почему бы и нет?.. – всё это придвинуло меня к ней, и я в первый и последний раз припала к её плечу, почти бесстрастно фиксируя, что её партийный жакет тоскует по химчистке, припала и выдохнула, как гимназистка:

– Можно, он побудет с нами? – И, ужаснувшись лицемерности этого «с нами», успела поправиться: – Побудет... – и не успела, не нашла местоименной замены.

Её «нет!» превысило все мои допущения и обнажило катастрофу до нервных волокон, которые я не хотела видеть, не хотела обнажать. Такое «НЕТ!» – одномерное, абсолютное, я видела на плакатах против водородной бомбы, и оно, помнится, внушало мне даже смутное сочувствие отрицаемому субъекту. Я оглянулась на ассистента знаменитого режиссера и увидела, что степень отрицания буквально выдавливает его из дверного проёма, как струя водомета. Я резко отпрянула от прокуренного рукава, чувствуя, что бледнею до стадии молочной спелости. И вместе со мной странно померк экран партийного телевизора, только что показывавшего репортаж о концерте, на котором мелькали умиротворенные лица феминисток. И как только появилась заставка с берёзкой и раздалась лирическая, березовенькая же музычка, я бросилась вниз по лестнице, кажется, окончательно вытолкнув Помора из проёма своей жизни. Я давно усвоила, что всякая лирика чревата беспорядками. И последнее, что я зафиксировала в зеркале вестибюля, была я. Надвигающаяся из зеркала несомненно я, потому что партийцы остались в гоголевском ступоре стоять вокруг Партайгеноссе. И чем-то тяжелеющим, набрякающим в лице и фигуре я уже походила на неё, я уже меняла сущность – со всеми внешними потерями. Но злое отражение затмилось мозговым спазмом, галлюцинацией почему-то лежащих на земле лицами вниз мамы и дочери. Я оттолкнула дверь, шелушащуюся под ладонями, как всё на этой земле, больной золотухой, и побежала к Москве.